

Осень в карманах

Автор:

[Андрей Аствацатуров](#)

Осень в карманах

Андрей Алексеевич Аствацатуров

Андрей Аствацатуров – автор романов «Люди в голом» и «Скунскамера». Лауреат премий «НОС», «ТОП 50. Самые знаменитые люди Санкт-Петербурга», финалист премии «Национальный бестселлер». Новая книга «Осень в карманах» – это истории из жизни обаятельного и комичного интеллигента в четвертом поколении. Книга открывается веселыми анекдотами, немного грустными сценами детства, но затем неожиданно погружает читателя в ритмичный мир современного города с его суетой и страстями. Здесь, на фоне декораций Санкт-Петербурга и Парижа, в университетских аудиториях, в лабиринтах улиц, в кафе и гостиницах среди нелепостей повседневной жизни городскому невротичу в очках доведется пережить любовную драму, которая изменит его жизнь.

Андрей Алексеевич Аствацатуров

Осень в карманах

Роман в рассказах

Часть I. Комарово

Джеффри и Снежанна

(Вместо предисловия)

Вчера я открыл свою электронную почту и обнаружил там письмо.

«Андрей, приветствую!

Мы с вами не знакомы, я не читал ваших книг, но наслышан. Предлагаю прочитать и испытать на прочность мой эротический роман, сочиненный на досуге. Роман называется „Знойный полдень“. Хотелось бы услышать от вас мнение, и желательно побыстрее (ждать я не люблю). Также просьба поспособствовать скорейшей публикации романа в каком-нибудь хорошем издательстве – я знаю, что связи у вас есть.

Всего наилучшего, Иннокентий (г. Торжок).

P.S.: Я посылал аналогичное письмо Герману Садулаеву, но ответа так и не получил. У вас имеется его точный адрес?»

К сообщению был приложен файл, и довольно объемный. Я его тут же открыл и приступил к чтению, как было велено, ведь Иннокентий из города Торжок, судя по письму, ВСЁ про меня знает и ждать не любит. Прочитал несколько страниц. Наткнулся на фразу: «ДЖЕФФРИ РАЗДЕЛ СНЕЖАННУ ДО ТРУСОВ И НАЧАЛ РЬЯНО ЕЕ ТРАХАТЬ».

А что? Мне показалось, что написано очень неплохо. Непонятно было только, почему писатель Садулаев ничего не ответил Иннокентию... Тут всё к месту, подумал я. И слово «рьяно», бодрое как коза. И трусы, которые загадочным образом так и остались на Снежанне. И потом – само имя героини, написанное через два «н». Видимо, это для пущего эротизма.

Дальше в романе тоже было много интересного. Например, на следующей странице четыре раза встретилось выражение «влажная пещера» и два раза – «красноголовый рыцарь». Я внезапно почувствовал, что роман «Знойный

полдень» – очень интересный и, что существеннее, «атмосферный», как выражаются в подобных случаях наши литературные критики. Но способствовать скорейшей публикации романа я не стал. Почему-то мне пришло в голову, что кроме меня этот текст никто не оценит.

Откуда Иннокентий про меня узнал – ума не приложу. Откуда вообще люди друг про друга узнают?

Вот только несколько дней назад я зашел в «Дом книги» воспользоваться бесплатным тубзалетом. «Дом книги» – так называется большой книжный магазин в центре Петербурга. Я зашел туда, увидел все эти роскошные обложки, альбомы, открытки, и меня почему-то сразу же посетили мрачные мысли о том, что мир очень несовершенен и совсем не такой, как в этих книгах и на этих открытках. Сделалось грустно. Когда я вышел из туалетной кабинки, то увидел возле умывальника низкорослого мужчину средних лет с небритыми щеками. Выражение лица у него было детское и добродушно-пучеглазое – я даже сначала подумал, что он американец. Мужчина повернулся ко мне и вдруг озарился улыбкой.

– Вы... это, извиняюсь, писатель, да?

Я молча принялся мыть руки. Разговаривать не хотелось.

– Это... сейчас... – наморщил лоб мужчина. – Вы этот... Ас... Ас... Ас...

Он беспомощно улыбнулся. Я закрыл кран и начал вытирать руки большим бумажным полотенцем.

– Фамилия ваша сложная, – застенчиво признался мужчина. – Ас... ас... ас?...

– Аствацатуров...

– Точно! – обрадовался мой собеседник. – Но... не читал! Извиняюсь! А что про вас надо знать?

Трудно сказать. Один восточный мудрец задал царскому вельможе вопрос: «Кто ты?» Вельможа ответил: «Я великий визирь». – «Я тебя не спрашиваю, кем ты

тудишься, я спрашиваю тебя, кто ты?» – «Ну, – задумался визирь, – я высокий, хорошо сложенный мужчина, с курчавой бородой, крепкими руками и...» – «Я не спрашиваю тебя, как ты выглядишь, – перебил мудрец, – я спрашиваю, кто ты?» – «Я верю: мир создал Аллах». – «Я тебя не спрашиваю, во что ты веришь, я спрашиваю, кто ты?»»

Не знаю, чем закончился этот разговор. Скорее всего, любопытному мудрецу попросту отрезали язык и прибили гвоздями к его собственной башке, чтобы болтал поменьше и не приставал к начальству. Начальство – оно ведь от Бога, оно на страже законов природы и не любит, когда к нему пристают по пустякам.

И кроме того, люди сами не в курсе, что про них нужно знать.

Только совсем недавно я побывал у стоматолога и наконец выяснил, что во мне самое главное. Дело было так. Два часа я просидел в кресле с открытым ртом. В какой-то момент в кабинет зашел приятель моего врача, зубной техник – наверное, по стоматологической надобности. Заодно заглянул и в мой распахнутый настежь рот. Чуть внимательнее пригляделся и вдруг восторженно произнес:

– Надо же! Какие интересные клыки!

– Что? – переспросил мой врач.

– Клыки, говорю, какие офигенные! Просто с ума сойти.

Я провел на этой земле уже чуть больше сорока пяти лет и, как всякий человек подобного возраста, чего-то даже добился. Приобрел сомнительную внешность, у которой, кажется, уже истекает срок годности, обзавелся женой и замечательными друзьями, опубликовал две книги легкомысленного содержания и три – очень серьезные, научные. У меня появились ученики, студенты и аспиранты. Но главное во мне, как оказалось, совсем другое – клыки.

Может, тут ничего сложного? И клык – это так, дань морковке? А сам я – просто обычный очковый интеллигент?

Вот, например, как-то раз приезжаю я из города к себе на дачу в поселке Комарово. Иду от станции своим обычным путем и заворачиваю на улицу Морскую. Раньше, во времена СССР, здесь располагались продуктовые ларьки. Потом их снесли, оставив прямоугольные проплешины голой земли. А совсем недавно тут провели газовые коммуникации и, чтобы их укрыть, соорудили небольшой домик из металлических листов, выкрашенных в густо-синий цвет. Вижу, на крыше домика стоит Гриша, местный разнорабочий, как всегда в окаменевшей от грязи спецовке. Руки – в карманах, во рту – незажженная сигарета. Он внимательно слушает седого мужчину в очках, одетого в модную кожаную куртку, – по всей видимости, инженера, который стоит внизу и отдает команды. У ног инженера лежит металлическая труба.

– Давай, Гриша, поразмышляем, – философски, растягивая слова, начинает инженер. Я подхожу ближе. – Как нам с тобой, – инженер пинает трубу, – эту елду на крыше закрепить?

Гриша почему-то меняется в лице и поспешно вынимает изо рта сигарету.

– Петрович! – говорит он смущенно, показывая сигаретой в мою сторону. – Ты бы, елки, это, не выражался... что ли... Тут, вишь, интеллигенция ходит.

– Здравссьте, – киваю я инженеру.

Конечно, со стороны людям всегда виднее, кто ты есть на самом деле. Но бывает так, что тебя с кем-нибудь путают.

Вот, например, стоим мы с двоюродной сестрой Сашей в очереди за хлебом. Крошечный комаровский магазин. Продавщица лет шестидесяти, ярко накрашенная, монотонно щелкает кассой. Впереди нас два милиционера с резиновыми дубинками на поясах. Подходит Гриша, тот же самый разнорабочий. У него тяжелое похмельное лицо, покрытое недельной щетиной, очень сосредоточенное. Гриша сначала пересчитывает задубевшими пальцами мелочь, потом любовно оглядывает выстроившиеся на витрине бутылки с пивом. Узнав нас с сестрой, приветливо кивает и спрашивает:

– Крайние тут – вы?

- Мы, - кивает в ответ Саша и громко добавляет: - Но за нами бабушка занимала. Маленькая такая, в зеленом берете. Отошла на минутку... А, вон она!

Гриша и милиционеры, привлеченные ее голосом, зачем-то дружно поворачиваются туда, куда она показывает, - в сторону молочного отдела.

- Это не бабушка, - говорю я.

- Как не бабушка? - изумляется один из милиционеров.

- Так не бабушка. Это - петербургский композитор Олег Каравайчук.

Продавщица вдруг перестает щелкать кассой и резко поднимает голову.

- Правильно! - говорит сердито. - И между прочим, очень известный человек!

Вся очередь укоризненно смотрит на Сашу.

У нас в Комарове жили и живут многие известные люди, и поэтому тут поневоле задаешься самыми важными вопросами.

К нам с женой в дачную комнату залетел однажды огромный комар. Залетел, заметался по стенам, по потолку, затрещал крыльями.

- Я его боюсь! - закричала жена. - Убей его!

- Успокойся... - говорю. - Чего ты испугалась? Он же не кусается. Кусаются маленькие комары. А такие, как вот этот, большие, не кусаются.

Жена на секунду задумалась, а потом спросила очень серьезно:

- Тогда зачем живет такой комар? В чем его предназначение?

На этот вопрос я ответить не смог и сказал, что не знаю.

- Тогда гони его отсюда в шею! - рассердилась жена.

Наверное, женщинам не нравится, когда предназначение не выяснено и не очевидно. По крайней мере, я всегда могу взять в руки книгу и сказать, что я – просто читатель.

Воспитание грамотности

Как-то раз я сел за стол писать докладную записку на имя... – ну, это, наверное, неважно, вы его все равно не знаете, – и провозился с ней битый час. Такие документы, особенно ежели они адресованы высоким руководителям, – сами понимаете, – должны быть составлены по всей форме и без ошибок. Поэтому я чувствовал страшную ответственность и то и дело впадал в раздумья, очень тревожные и тягостные. Раздумья эти касались главным образом букв и знаков препинания. Чем больше в докладной записке их появлялось, тем больше я сомневался, правильно ли я пишу. Я ерзал на стуле, думал, потел, усердно грыз ручку, всякий раз сверялся с какими-то словарями и справочниками. В итоге, конечно, справился, но страшно устал и весь издергался. Потом пошел на улицу выбрасывать мусор, и возле помойки мне в голову пришли очень интересные мысли.

Странно, думалось мне. Я дожил до сорока лет, так и не научился грамотно писать, и, честно говоря, сам не знаю почему. Наверное, потому, что очень люблю писать безграмотно. Это целая история. Отца моя безграмотность всегда раздражала, особенно когда я учился в младших классах. Тогда он меня стыдил чуть ли не каждый день. Говорил, что я позорю нашу славную филологическую династию. По многу раз вспоминал деда-академика. Всё было напрасно. Я продолжал писать с ошибками и получал тройки за диктанты. Отца несколько раз вызывали в школу. Сначала он сердился, кричал на меня, а потом понял, что всё бесполезно, и махнул рукой. На долгие годы меня оставили в покое. Я тогда был совершенно счастлив и расставлял буквы и запятые как бог на душу положит. Но в выпускном классе отец снова за меня взялся. Видимо, ему в голову пришла какая-то хитрая педагогическая стратегия.

– Главное для тебя сейчас, – с заботой в голосе объявил он, – хорошо написать вступительное сочинение на филфак. А там – пиши как хочешь. Хоть «корову» через «а». Слова не скажу.

Я подумал и сдался. Засел за учебники по русскому языку и успешно написал вступительное сочинение. Потом я начал ходить на лекции, и постепенно в моих конспектах и курсовых снова стали появляться ошибки. Каждый день их становилось все больше. Отец однажды это заметил и сделал мне замечание. Я ему терпеливо напомнил его же собственные слова про вступительные экзамены и про то, что раз теперь всё позади, то мне уже можно наконец «корову» писать через «а». Но отец почему-то не согласился. Он заявил, что такое право я заслужу, только если получу диплом о высшем филологическом образовании. Я снова взял себя в руки, стал писать грамотно, отучился пять лет на филологическом и подумал, что вот теперь, наконец, то самое время – когда я смогу писать «корову» через «а» – уже настало. Но отец снова сказал, что пока это делать рано, – нужно сначала кандидатскую диссертацию защитить. Защитил я эту диссертацию в 1996 году, и с тех пор претензий ко мне отец не предъявлял. Хотя, согласитесь, усложнять задачу на протяжении десяти лет было с его стороны нечестно. Тем более что в результате все равно ничего не получилось.

А ту докладную записку, которую я сочинил, начальник не принял. Он сказал, что, во-первых, она составлена не по форме.

А во-вторых, – тут он внимательно посмотрел на меня поверх очков, – «не» с глаголами пишется отдельно.

Несколько слов в пользу чтения

Зато с чтением всё гораздо проще. Тут у меня проблем нет. Я люблю читать, особенно книги. Когда я их читаю, я задаю себе разные вопросы. Например, почему в книге написано то, что в ней написано, а не что-нибудь другое. И сам же на эти вопросы мысленно отвечаю. Потом я запоминаю свои ответы и пересказываю их студентам. Такое времяпрепровождение называется «филологией», и за него даже платят деньги. Правда, совсем небольшие.

Дело даже не в деньгах. Чтение, мне кажется, полезно, когда хочется забыть разные тревожные мысли: например, о том, что мир, в котором мы живем, чудовищно несовершенен. Эти мысли, очень грустные, заползают к нам в голову через уши, через нос, даже сквозь глаза, и там, в голове, подолгу жужжат, как

назойливые мухи. Книгой, особенно если толстой и интересной, их можно раз и навсегда прихлопнуть.

Перед чтением ты – как оторванный от электрички вагон. Поезд умчался куда-то вдаль, а ты стоишь на рельсах – и ни туда ни сюда. Как шут гороховый. Книга в такой ситуации – вещь незаменимая. Она дает тебе крепкий поджопник, как строгий армейский сержант неопытному салаге. И вот ты уже не стоишь как идиот на месте, а катишься ровным ходом туда, куда ведут прямые рельсы. И безо всяких вихляний в разные стороны и посторонних мыслей. Слава богу, в книгах нет ни людей, ни вещей. А есть одни черные крючочки и закорючки, собранные на страницах в длинные рваные цепочки. Их просто надо перебирать глазами – и всё... Труд это небольшой, но уважаемый.

В самом деле, человек с книгой в руках смотрится убедительнее, чем человек без книги. Так, по крайней мере, мне казалось в возрасте шести лет. А желание научиться читать пришло еще раньше, после того, как мы с мамой однажды прокатились на электричке.

Безработица в Америке

Мама сидела у окна и читала книгу, а я пристроился рядом и старательно выковыривал плоской палочкой мороженое из холодного бумажного стаканчика. И мороженое, и электричка мне очень нравились. Мороженое было вкусным, а электричка спереди напоминала лежащего на животе доброго дедушку с большими светлыми глазами и аккуратной бородой. Я долго думал, зачем электричке нужна борода, и решил, что это потому, что она старая и давно тут ездит.

Мы как всегда направлялись на дачу, в Комарово. Я ел мороженое и одновременно внимательно слушал, как весело стучат колеса, выводя притоптывающую мелодию. Я и сейчас, когда езжу в Комарово, люблю ее слушать. Эта мелодия сначала разгоняется, а потом, когда поезд приближается к платформе, затихает. И тогда откуда-то сверху густой мужской голос предупреждает: «Осторожно! Двери закрываются!» И затем объявляет следующую станцию. Названия всех станций я уже к пяти годам выучил наизусть: Левашово, Песочная, Репино... Понятной была только одна станция –

Комарово. Там я всё знал: нашу дачу, магазин, Кудринскую улицу и Щучье озеро. Остальные станции были непонятными, и я считал, что всё там неправильно. В Левашове всё – налево, в Песочной есть только песок – и больше ничего, в Репине повсюду растут репы, зато грибов и черники нет.

В таких грустных размышлениях, что в мире всё не так, и с мороженым в руке я провел в тот раз довольно много времени, пока напротив нас не уселись двое мужчин. Я бросил ковырять мороженое и принялся их разглядывать.

– Закрой рот сейчас же! – приказала мама. – Ты уже доел свое мороженое? Доел? Тогда давай сюда стаканчик, а то опять весь вымажешься как поросенок! На, держи салфетку – руки вытри!

Я молча протянул ей стаканчик и взял салфетку. Есть мороженое расхотелось – я почувствовал, что наши новые соседи распространяют вокруг себя очень неприятный запах, резкий и кислый.

Один, толстый, в синем комбинезоне, расположился у окна напротив мамы и, подперев кулаком пухлую щеку, о чем-то глубоко задумался. Другой, худощавый, как только сел, сразу же достал из кармана своей грязной куртки газету и, развернув ее, углубился в чтение. Некоторое время оба молчали. Поезд равномерно притоптывал колесами. И вдруг тот, который читал газету, подал голос.

– Гляди-ка, Палыч, – он толкнул толстого локтем в бок.

– Чё? – с добродушным раздражением отозвался тот и лениво повернул голову. – Сеня, чё тебе всегда надо?

– Глянь, чего в газете пишут... Америка-то – самая богатая, а вон какие проблемы – безработица! – Сеня потряс газетой. – Довели людей до ручки – люди вон на улицу вышли с плакатами. И смотри, Палыч, чё у них написано! Надо же!

– Ну-ка, – Палыч наклонился и устремил взгляд туда, куда указывал Сеня.

Мне тоже захотелось посмотреть. Я сполз со скамейки и сбоку заглянул в газету. Грязный палец Сени указывал на фотографию. На ней я увидел людей с широко

раскрытыми ртами. Некоторые из них подняли вверх кулаки. Другие держали в руках длинные палки с большими табличками. На этих табличках виднелись крупные буквы:

J O B!

Я не умел читать и не понимал, что они означают.

- Смотри - «ёп»! - тихо хихикнул Сеня. - Чего это они?

- Чего-чего, - пожал плечами Палыч. - Сам не понимаешь? Возмущаются люди...

- Вижу, что возмущаются. Я не понимаю, как в газету такое пропустили.

Толстый Палыч добродушно дернул уголком рта и отодвинулся к окну.

- Мама, а что значит «ёп»?! - громко спросил я.

Сеня и Палыч обернулись на мой голос. Они только сейчас заметили, что я стою рядом. Кто-то в вагоне, прямо у меня за спиной, коротко хихикнул.

- Что?! - мама подняла голову от книги и поморщилась. - Глупости не болтай!

Я понял, что спросил что-то не то.

- Почему глупости? - неожиданно обиделся Сеня. - Вон, сами гляньте.

Он протянул маме газету. Она мельком взглянула на фотографию и сухо сказала, как будто ни к кому не обращаясь:

- Это слово «джоб». По-английски значит «работа».

Сеня отобрал у мамы газету, недоверчиво посмотрел туда, потом хлопнул себя по лбу и громко расхохотался. Толстый Палыч у окна лениво улыбнулся. Я

посмотрел на них, тоже засмеялся и сел обратно на свое место.

- Читать умеешь? - спросил Сеня, отсмеявшись.

Я помотал головой.

- Давай учись, - посоветовал он. - Будешь вон, как мама, умный...

Быть умным мне хотелось всегда, и в тот раз я наконец понял, что нужно для этого сделать, - нужно научиться читать.

Буквы и знаки препинания

Тем же летом меня научили читать. Это, наверное, для того, чтобы я был чем-то занят и не отвлекал взрослых. Летние дни поначалу казались мне огромными и длинными, как наши скучные дачные веранды, и я совершенно не знал, куда себя в них девать. Теперь, когда взрослые нашли наконец для меня дело, дни полетели гораздо быстрее. В июне я разбирал отдельные буквы, а в июле уже умел читать по складам. Папа был настолько вдохновлен моими успехами, что поручил маме научить меня заодно и писать, чтобы уже всё сразу.

Вот эта наука оказалась куда более сложной. Шариковая ручка была слишком тяжелой и постоянно выскользывала у меня из пальцев. Карандаши, наоборот, попадались слишком легкие, хрупкие и тут же ломались. Но главная проблема состояла в другом. Как только я понял, что мне самому придется писать, я начал бояться букв и знаков препинания. Буквы настораживали своим мрачным цветом, словно украшения на черных оградах комаровского кладбища. Они как будто заранее смеялись над тем, что я не смогу их одолеть. А знаки препинания все время грозили наказанием. Восклицательный знак выглядел как злой окрик: «Пиши правильно, не то ремня получишь!» Вопросительный напоминал кошмарную птицу, готовую сверху долбануть по голове кривым клювом. Даже точки меня не утешали. Они навевали страшную безысходность, от которой хотелось заплакать.

А началось всё с того, что у меня никак не получалось правильно написать букву «м».

Я сидел на веранде с карандашом в руке. Передо мной на столе лежал большущий лист бумаги. Белый и чистый. У окна с сигаретой стояла мама и всё время меня торопила:

– Давай пиши букву «м», и побыстрее! Мне еще в магазин надо сегодня успеть.

Учиться писать букву «м» мне не хотелось. Особенно в тот день. За окнами ярко светило солнце, и день был жаркий. Около веранды гонял мяч мой старший брат и собирался ехать на велосипеде на озеро купаться. Он еще за завтраком сообщил об этом взрослым и добавил, что может взять меня. Я было обрадовался, но тут вмешалась мама.

– Андрюше, – сказала она, – нужно сначала позаниматься.

Брат согласился меня подождать, но выставил условие:

– Только если недолго! А то я уже купаться хочу!

Щучье озеро

И вот я сидел на веранде и вместо того, чтобы думать о букве «м», мечтал об озере. Оно называлось Щучьим. Сначала я остерегался в нем купаться: думал, что там плавают щуки, очень злые и кусачие. Одну такую я видел в мультфильме «Ну, погоди!». Она выпрыгнула из воды, вцепилась мертвой хваткой в перчатку и с остервенением принялась мотать ее в разные стороны. Но мама мне объяснила, что эта щука из мультфильма – ненастоящая и что настоящие щуки в озере давно уже не живут, потому что вода очень грязная.

– А куда они из озера подевались? – спросил я.

Мама ответила, что щуки, скорее всего, умерли и лежат на дне. Это объяснение меня несколько успокоило, но с тех пор, заходя в воду, я всегда внимательно

смотрел под ноги. Боялся, что наступлю на какую-нибудь мертвую щуку, она оживет и вцепится мне в ногу.

Я уже было приготовился писать букву «м», но почему-то вдруг вспомнил кудрявого черненького мальчика, которого неделю назад видел на озере. Он бежал по песку навстречу седому мужчине и радостно вопил на весь берег:

– Дядя Аро-он! Дядя Аро-он!

Однако дядя Арон был веселому мальчику совсем не рад. Он все время как-то испуганно оглядывался и, когда мальчик к нему подбежал, сердито на него зашипел.

Я стал думать, почему этот дядя на озере так разозлился, и вдруг услышал голос мамы:

– Андрей! Опять ты ворон считаешь!

Додумать как следует о дяде Ароне мне в тот раз не дали – нужно было учиться писать букву «м».

Буква «м»

Мама бросила сигарету в окно и села рядом со мной.

– А бабушка говорит, что мусорить на участке нельзя! – вспомнил я.

– Что-о?! – удивилась мама. – Давай лучше пиши. Тоже мне нашелся... Возьми карандаш как следует! Сюда смотри...

Она вывела на бумаге большую букву «м».

– Теперь давай сам. Сначала – крючок. Та-ак...

Я изо всех сил попытался сосредоточиться. Сперва дрожащей рукой нарисовал крючок. Вроде получилось. Потом принялся за палочку, но она у меня ушла в сторону.

- Куда! - закричала мама. Так громко, что я испугался. - Давай снова!

Я попробовал еще раз, и у меня опять не получилось. Мама начала терять терпение.

- Последний раз показываю! - объявила она, нарисовала букву «м» и поднялась со стула. - Приду через пятнадцать минут! Чтобы к моему приходу ты десять раз написал букву «м»! Ясно?!

- У меня давление... - неуверенно пожаловался я. Я не знал, что эти слова означают. Но так всегда говорила бабушка, когда не соглашалась что-нибудь сделать или когда хотела прекратить неприятный разговор.

- Что?! - не поняла мама. - Что ты мелешь?! Какое еще давление? Не выдумывай!

С этими словами она ушла.

Мне пришлось снова взяться за работу. Старался я на совесть и, выводя крючочки и палочки, все время усердно высовывал язык и помогал себе губами. Так всегда делал, как я потом узнал, герой гоголевской «Шинели» и еще, наверное, загадочный Бартлби. Им это, кстати, помогло не сильно. Оба умерли. А я вот, как видите, не умер и остался жив. Но зато никто так и не сказал мне: «Я брат твой!» Даже мысленно. Ни сейчас, ни в тот раз, когда я маленьким учился писать букву «м». Карандаш в моих руках упрямылся и вместо буквы «м» будто нарочно выводил на бумаге каких-то раскоряченных лягушек.

Когда вернулась мама, я был уже весь в слезах и ждал, что меня пожалеют. Но мама, судя по всему, жалеть меня не собиралась.

- Будешь тут сидеть, пока не научишься! - строго сказала она.

Я бросил на стол карандаш и заревел.

– Андрюша, прекрати! Лёня! – отчаянно позвала мама. – Сделай что-нибудь!

Из глубины дома донесся равнодушный голос отца:

– Не покупай ему больше мороженого!

– Слышал?! – злорадно поинтересовалась мама. – Больше никакого мороженого! И поделом! Кто сгрыз мою красную ручку?!

Раздалось хихиканье. Я увидел, что на веранде в дверях стоит мой старший брат и улыбается во весь рот.

– Нет, вы подумайте! – продолжала возмущаться мама. – Страна работает, из последних сил строит социализм, а этот хочет только бездельничать! Озеро, видите ли, ему подавай! Пока букву «м» писать не научишься, не будет тебе никакого озера! Слышишь?!

Я закрыл лицо ладонями и заревел еще громче.

Мне сделалось горько, оттого что вся наша великая страна ударными темпами идет вперед, выполняет и перевыполняет пятилетний план, а я один всех задерживаю.

– Во дурак! – с сожалением в голосе произнес мой брат. – Тетя Вера, тогда я один поеду на озеро, ладно?

Мама что-то ему ответила, и он убежал.

Я почувствовал обиду – такую сильную, что даже перестал плакать и, насупившись, объявил:

– Не нужно мне вашего озера! Я к дяде Саше пойду!

Видимо, такого поворота событий мама не ожидала. Но тут же нашлась:

– Не нужен ты такой дяде Саше!

Узнав, что я не нужен дяде Саше, я снова заплакал.

«Die Stadt Königsberg ist besetzt!»

Дядя Саша был для нас почти кумиром. Я имею в виду, конечно, себя и моего брата. Выглядел дядя Саша гораздо старше остальных взрослых – седой, с белой, как у доброго доктора Айболита, бородой, – и это придавало ему в наших глазах гораздо больше авторитета. Бабушка – дядя Саша приходился ей дальним родственником – с уважением говорила, что раньше он работал большим начальником, а до этого воевал с фашистами. Дядя Саша часто гостил у нас на даче, и мы с братом всегда радовались, когда он приезжал. Радовались его белой бороде, его оттопыренным смешным ушам. Даже его странному голосу, шершавому, как небритый подбородок, тоже радовались. Дядя Саша был самым настоящим праздником! Он много шутил, чуть что – смеялся и показывал непонятные фокусы, во время которых монетки с его ладони исчезали, а потом вдруг снова появлялись. По вечерам он звал нас с братом к себе на верхнюю веранду и читал вслух веселые сказки из толстой книжки. Иногда он рассказывал смешные истории про то, как он однажды в детстве жил в деревне. Мы с братом всегда громко смеялись, а родители делали нам замечания.

Много лет спустя, уже после его смерти, я узнал, что для взрослых у него были припасены совсем другие истории. Фронтовые.

В одной из них дело происходило в Восточной Пруссии в 1944 году, когда советская армия занимала город Кёнигсберг. Его потом, как вы знаете, переименовали в Калининград. Наши войска фактически уже захватили весь город, но в одном из кварталов столкнулись с упорным сопротивлением немцев. Те засели в нескольких домах, заняли удобные снайперские позиции и яростно отстреливались. Выбить их оттуда без больших потерь не было никакой возможности. Наши командиры собрались в штабе и стали совещаться.

– Надо бы им крикнуть, что город уже взят и сопротивление бесполезно, – предложил пожилой усатый комбат. – Авось послушают...

Все дружно согласились. Позвали дядю Сашу. Он был единственный, кто знал немецкий и вдобавок отвечал за пропаганду среди войск противника.

– Значит так, Александр Яковлевич, – обратился к дяде Саше комбат. – У нас к тебе приказ. Напиши-ка по-немецки листовку, что город Кёнигсберг взят. Мы ее нашим солдатам отдадим, и пусть они это кричат немцам.

Дядя Саша взял бумагу и написал:

«Die Stadt K?nigsberg ist besetzt!»

Комбат посмотрел, нахмурился и вернул дяде бумагу.

– Напиши лучше русскими буквами, а то ни черта не понятно.

И дядя Саша старательно вывел: «Ди штад Кёнигсберг из безецт».

– Ишь ты, – усмехнулся в усы комбат. – Совсем как по-русски.

Через десять минут улицы города огласились криками:

– Кёнигсбергу пиндец!

Это были голоса советских солдат. Они кричали хором. Однако немцев, как оказалось, убедить было непросто. Они отвечали короткими автоматными очередями. Но через час все-таки сдались – выкинули белый флаг и вышли один за другим с поднятыми руками.

Дядю Сашу комбат представил к награде.

Как вы, наверное, догадываетесь, мне и моему брату дядя Саша ничего подобного не рассказывал. А взрослым, как всегда, повезло больше.

Пушкин и православие

- Дядя Саша! - плакал я. - Хочу к дяде Саше!

Где-то наверху хлопнула дверь, и через минуту на веранду вошел улыбающийся дядя Саша.

- Что за шум, а драки нет? - весело спросил он.

В руке дядя Саша держал толстую серую книгу.

- Андрей букву «м» не может научиться писать! - с отчаяньем пожаловалась мама и взяла из пачки сигарету. - Прямо не знаю, что делать!

Дядя Саша с самым серьезным видом склонился над моими каракулями и прищелкнул языком:

- Дела...

Я шмыгнул носом.

Дядя Саша выпрямился, и лицо его приняло добродушное выражение.

- Верочка, - ласково произнес он. - Вы когда-нибудь встречали человека, который не научился писать букву «м»?

Мама в ответ невесело хмыкнула и принялась разминать пальцами сигарету. Я тоже задумался над его вопросом и почему-то сразу успокоился. Мне пришло в голову, что я, наверное, единственный такой на свете, кто не умеет писать букву «м», и потому не похож на всех остальных. Это неожиданное открытие наполнило меня ощущением собственной значимости. Я понял, что всё на свете могу, и поднялся со стула. Но дядя Саша весело мне подмигнул и пальцем показал, чтобы я сел обратно. Я снова залез на стул. А дядя Саша взял со стола толстую серую книгу, ту самую, которую он принес на веранду, и принялся ее листать.

- Я тебе сейчас сказку прочитаю, - пообещал он, не отрываясь от книги, - про царя Салтана, а ты внимательно послушай. О, вот, нашел наконец... Слушаешь?!

Я важно кивнул. Буква «м», Щучье озеро и хихикающий брат как-то сами собой забылись, и мне уже захотелось слушать сказку.

– Ее сочинил, – пояснил дядя Саша, – наш самый великий поэт.

Узнав, что сказку сочинил кто-то великий, я почувствовал некоторую ревность и строгим голосом поинтересовался:

– А как его фамилия?

Этому вопросу я научился в детском саду от нашей воспитательницы. Она задавала его каждый день обычно тем, кто плохо себя вел. И всегда строгим голосом. Молодая врачиха, когда нас приводили к ней на осмотр, тоже первым делом спрашивала: «Как твоя фамилия?» В конце концов я усвоил, что это очень важный вопрос и его обязательно надо задавать.

– Фамилия? – удивился дядя. – Пушкин. Тебе что, не нравится?

Он так спросил, потому что я поморщился. Фамилия мне и в самом деле не понравилась. Не подумайте только, что я сноб и всё такое... Гениальность «нашего всего» я в конце концов оценил. Просто в пять лет мне не понравилось это нелепое сочетание звуков. Будто кто-то случайно не удержался и коротко пукнул. И, пукнув, тут же этого устыдился.

– Ты что, Пушкина не знаешь? – вмешалась мама. Я только сейчас заметил, что она никуда не ушла и все это время стояла с сигаретой у окна.

Дядя Саша принялся громко читать и ходить с раскрытой книгой взад-вперед по веранде:

– Три девицы под окном пряли поздно вечерком...

Я ничего не понимал. Ни кто такие девицы, ни что значит «пряли». А спросить постеснялся. Мне и так было стыдно за то, что я не знал, кто такой этот Пушкин. Но когда дядя дошел до слов «и на весь крещеный мир приготовила б я пир», я не выдержал.

– Крещеный – это что? – перебил я его. Про пир я был в курсе. Пир – это когда люди собираются и едят много разных вкусных вещей: салаты, фрукты, овощи, мороженое. Со словом «мир» тоже всё казалось понятным. А слово «крещеный» я слышал впервые.

– Крещеные люди, – отозвалась мама у окна, – это те, кто в Бога верят и в церковь ходят.

Я очень удивился, что есть такие люди. В детском саду нам рассказали, что в Бога люди верили давным-давно, при царе, когда жили помещики и капиталисты. А потом, когда их прогнал Ленин, выяснилось, что Бог встречается только в сказках и есть только природа. Дядя продолжал читать, но я больше его не слушал. Я серьезно задумался. Этот Пушкин чем дальше, тем все меньше мне нравился. В его сказке выходило, что пир приготовят только специально для тех, кто верит в Бога. А всех остальных, кто против царя и уже знает, что Бога нет, например меня и моих друзей из детского сада, на пир не пустят.

– Так нечестно! – пожаловался я.

Дядя Саша прервал чтение.

– Что нечестно?

– Андрюша! – вмешалась мама. – Сколько раз тебе надо повторять: перебивать взрослых невежливо!

– А детей, выходит, перебивать вежливо? – поинтересовался дядя Саша.

– Нечестно, что нас на пир не пустят! – продолжил я. – Мы ведь не верим в Бога.

Дядя Саша громко захохотал.

– Верочка, вы слышите?

– Слышу, слышу, – раздраженно отозвалась мама и повернулась к нам спиной. Видно было, что ей совсем не смешно. – От него с ума сойти можно!

Я не мог понять, почему она так сердится, и зачем-то снова взял со стола карандаш.

– Он у вас точно филологом будет! – дядя Саша захлопнул книгу. – Иди-ка, Андрюша, лучше в сад – поиграй.

– Пусть сначала букву «м» писать научится, – сердито буркнула мама. – А там видно будет...

И они начали разговаривать на какие-то непонятные взрослые темы. А я тогда подумал, что читать гораздо лучше, чем писать. Потому что когда пишешь – тебя все ругают, а когда читаешь – наоборот, хвалят. А еще лучше – это я теперь усвоил твердо, – когда тебе читают, и ты задаешь вопросы. Причем не вслух, а мысленно, самому себе.

В фитнес-центре

Я вырос, закончил школу, потом – университет, устроился на работу и вроде бы наконец оказался предоставлен сам себе. Но окружающие по-прежнему советуют мне читать. Даже если у меня возникает желание заняться чем-нибудь другим.

Пару лет назад я зашел в фитнес-центр. Решил на старости лет мышцы подкачать. Когда я заполнял у стойки анкету, ко мне подошел здоровенный бугристый инструктор непонятного возраста и спросил, кем я работаю. Я ответил, что доцентом в университете. Он как-то неопределенно хмыкнул и сказал, что будет ждать меня в тренажерном зале. Я переоделся, зашел в зал и сразу же его увидел. Он стоял рядом с какой-то штангой и, скрестив руки на груди, равнодушно жевал жвачку. Чтобы показать интерес, я спросил (получилось очень неубедительно):

– Скажите, какие тренажеры мне полезны?

– Вам? – инструктор, не переставая жевать, скептически измерил взглядом мою фигуру. – Все!

Я подошел к какой-то конструкции. Минут пять ее изучал. Понял, что надо дергать за черную ручку. Сел, изо всех сил дернул... и что-то посыпалось на пол. А ручка осталась у меня в руках. Через секунду рядом оказался инструктор. Обреченно вздохнув, он принялся подбирать детали тренажера и возвращать их на прежнее место.

Я протянул ему оторванную ручку. Он взял ее и принялся, кряхтя, приделывать. Потом вдруг повернулся ко мне и безнадежным голосом произнес:

– Знаешь, доцент! Ты только не обижайся, ладно? Лучше иди домой и читай свои книги...

Виктор Максимович Жирмунский, старый режим и дачные родственники

Это, конечно, легко – взять вот так и сказать: «Иди, мол, доцент, читай свои книги!» Случаются ведь совершенно разные обстоятельства, и порой наши планы терпят серьезные увечья, даже те, которые касаются как будто бы самых невинных занятий, таких как, например, чтение. И потом, жизнь в своем многообразии совершенно не стоит на месте. В ней всё меняется, причем до непредсказуемости. Нравы меняются, меняются политические режимы и даже иногда люди.

Вот, к примеру, при старом режиме (это до революции, при царе) к людям относились очень деликатно. Если они учились, работали или занимались каким-нибудь делом, их по пустякам не отвлекали. Разве только кто-нибудь в царя бомбу бросит – тогда, конечно, переполох. Но такое случалось не каждый день. Революция все изменила. Трудовые и учебные процессы стали зачем-то всё чаще прерывать собраниями, митингами, политинформациями. К людям заходили, куда-то их вызывали, строили в ряды, сажали на стулья в общие залы и принимались что-то втолковывать. И втолковывали с таким жаром, чтобы до сердца дошло, чтобы про свое дурацкое дело они поскорее забыли. Но всему прекрасному, увы, когда-нибудь приходит конец. Советская власть закончилась. Всё почти вернулось на круги своя. Людей отвлекать перестали.

А вот у нас на даче в Комарово, похоже, всё наоборот: советская власть только начинается.

Едва я сажусь теперь заниматься, читать свои книги, как мне правильно советовал инструктор, ко мне тут же начинают стучаться многочисленные родственники, чтобы сообщить какую-нибудь новость. «Мы приехали!», «Мы уезжаем!», «Ты не знаешь, где сапоги Марика?!», «Сашута подмела пол внизу, и тут вот еще что...»

– Я занят! – отвечаю.

– Но мы только на минутку! – отвечают родственники и заходят ко мне в комнату.

«Я к вам только на минутку», – говорит у Ионеско хозяевам квартиры бренд-майор. Он заходит к ним и остается там до конца пьесы.

Этих людей, моих родственников, ничем не угомонить. Новости всякий раз оказываются одна другой важней. «Мы прожгли туалетную бумагу!», «На Сашутиной веранде осы, имей в виду!», «К нам в гости зашел дядя Юра. Спустись поздороваться!»

Проживать тихим дачником в этом ужасно шумном доме крайне затруднительно. Особенно если ты занят чтением. Чтение настоятельно требует старорежимной тишины.

Когда был жив мой дед, Виктор Максимович Жирмунский, порядки на нашей даче были совсем иными. Видимо, потому, что дед придерживался крайне консервативных взглядов на науку, на литературу и вообще. Например, он не сильно жаловал русских революционных демократов. Однажды он как-то высказался по их поводу: «Из всех этих чернышевских я больше всего люблю Герцена».

Так вот, когда он жил на даче, всё было тихо. Обитатели дома умалишенно друг к другу так вот не врывались, особенно к деду. Даже с очень срочными бытовыми новостями. Каждому разговору отводилось свое время.

Попытка все это изменить была предпринята на даче лишь однажды. И успехом не увенчалась.

Как-то раз дед работал у себя в кабинете, и к нему без стука зашла бабушка.

– Витя, – с ходу начала она.

– Ниночка, я занят, – перебил ее дед.

– Я на минутку... Там к тебе в гости пришел... (она назвала фамилию).

Дед поднял голову.

– Я никого не жду! – строго сказал он.

– Как?! – испугалась бабушка. – Ты что, к нему даже не выйдешь?!

– Нет, – ответил дед твердо. – Это невоспитанно – приходить в чужой дом без предупреждения. Он должен был по крайней мере заранее позвонить и предупредить. А сейчас я занят и, прости, не хочу прерываться.

– У него телефона нет! – взмолилась бабушка.

– Нина, ты мне сейчас очень мешаешь. Что значит «нет телефона»? Раньше, при старом режиме, не было телефонов, но все себя вели очень вежливо, а не так. Приходили в дом, осведомлялись, может ли хозяин принять, не занят ли он...

– Витя! – вдруг закричала бабушка – к ней вернулся ее прежний комсомольский задор эпохи великих строек. – Ты не имеешь права жить как при старом режиме!

Виктор Максимович отложил в сторону ручку, потом поднялся со своего места и внушительно произнес:

– Я, Ниночка, достаточно уже сделал и заслужил право жить как при старом режиме. Ясно?

Дед скончался в 1971 году, и вместе с его смертью старые дачные порядки постепенно забылись. Все принялись друг друга теревить, дергать, рваться друг к другу в запертые комнаты. Больше всех теперь достается мне.

Я хочу, чтобы всё на нашей даче было как при деде.

Но боюсь, наверное, я еще мало чего добился и не заслужил жить в тишине и покое. Как при старом режиме.

Часть II. Времена года

Первая любовь

(Вместо предисловия)

Мне казалось, что она похожа сразу на двух женщин, к которым я тогда испытывал любовь: на певицу Таисью Калинченко и на актрису Наталью Белохвостикову. Худенькая девочка с большими круглыми глазами, молочной кожей и длинными рыжими волосами. Настя Донцова мне очень нравилась, но я не имел никакого опыта в любовных делах и не знал, что следует предпринять. Мне только что исполнилось девять.

Кстати, Данте, по-моему, встретил Беатриче примерно в этом же возрасте. Но, в отличие от меня, сразу сориентировался. Обомлел, задрожал всем телом и проникся к своей пассии самым куртуазным чувством. В результате он стал автором «Божественной комедии».

Я в тот момент еще не читал Данте и не знал, как сложилась судьба великого флорентийца, а то бы обязательно последовал его примеру. Зато я вспомнил про Тома Сойера, который не побоялся написать своей любимой девочке письмо и был вознагражден за храбрость. Вспомнил, собрался с духом и тоже сочинил письмо. В этом письме я выложил Насте Донцовой всё как есть: что, мол, сильно ее люблю и хочу вместе ходить из школы домой. Письмо это я подписал, сложил

вчетверо и вручил Насте Донцовой перед уроком чтения. Она открыла его, уже сидя за партой. Долго хихикала, а потом передала соседке слева, толстой девочке Оле Семичастных. Я видел, как они поочередно тыкали пальцами в мое письмо и хихикали. Так громко, что это заметила наша учительница Валентина Степановна.

Она была строгая, эта Валентина Степановна, и чуть что не так, всегда сначала выжидательно смотрела на провинившегося поверх своих металлических очков, а потом принималась громко кричать и требовать дневник. Мы все ее очень боялись. Особую внушительность ей придавала крупная бородавка, которую она носила на левой щеке с большой гордостью.

Валентина Степановна сердито отобрала у них мое письмо, прочитала, и лицо ее тут же повернулось ко мне. Оно сделалось таким красным и свирепым, что я до смерти испугался.

– А ну, встань сейчас же! – быстро отчеканила она.

Я попробовал встать, но от страха не смог даже пошевелинуться.

– Я кому говорю! – повысила голос Валентина Степановна.

Я с трудом поднялся и почувствовал, что очень хочу в туалет.

– Валентина Степановна... – тихо, дрожащим голосом пролепетал я. – Мне очень нужно в туалет.

– Что?! – не поверила она. А потом вдруг затопала ногами и завопила: – А ну, вон из класса!!! Сейчас же!

Я выбежал как ошпаренный и обратно в класс зайти уже не решился. Так и простоял весь урок под дверью. Мне было очень стыдно, хотя я и не понимал, что сделал плохого.

На следующем уроке Валентина Степановна поставила меня у доски и принялась отчитывать. Сначала она прочитала вслух мое письмо к Насте Донцовой, и одноклассники заливисто смеялись.

– Ишь кавалер выискался! – ехидно комментировала Валентина Степановна.

Потом она начала говорить очень складно, как по написанному, и говорила очень долго, почти весь урок. В какой-то момент я понял, что уже давно ее не слушаю. Страх как-то сам по себе совершенно выветрился, и я даже перестал думать о наказании, которое меня могло ждать дома. Весь мир вокруг вместе с Валентиной Степановной, Настей Донцовой и одноклассниками завертелся перед глазами и как будто исчез. Мысли мои были заняты другим. Я стоял и не понимал, почему в моей жизни обернулось все не так, как в книге про Тома Сойера. Немного подумав, я сообразил, что виноваты очки.

Очки! Если бы я не носил на лице эту дрянь, Настя Донцова не посмеялась бы надо мной. Она бы берегла мое письмо, а потом бы меня полюбила. Если бы я их не носил, меня бы не дразнили очкастой коброй. Мне вдруг захотелось прямо сейчас бросить очки на пол и растоптать их. Но я с ужасом и тоской осознал, что это невозможно. Что я до конца жизни обречен быть смешным, уродливым и носить дурацкие очки с толстыми стеклами.

Я вспомнил, как однажды я снял очки и попытался ходить без них. В окружающем мире тотчас же воцарился чудовищный беспорядок. Предметы потеряли очертания и превратились в яркие, грубые пятна, лишённые форм и линий. В этом разноцветном потоке лившихся в зрачки красок было очень трудно сориентироваться. Кружилась голова, и меня начало шатать. Я не замечал, куда ступаю, и все время на что-нибудь натыкался. А мебель (столы, стулья, тумбочки) будто сошла с ума и старалась меня побольнее ткнуть, чтобы оставить синяки.

Когда я водворил очки на переносицу, все тут же обрело вменяемый вид и сжалось в понятные для меня знаки. Цвета сразу потускнели, зато все предметы выстроились рядом друг с другом, как буквы в словах. Стоя у доски, я вспомнил, как тогда снимал очки, как мне пришлось снова их надеть, и вдруг понял, что в жизни всё нечестно и неправильно. Что одни в нашем классе почему-то высокие, а другие – маленькие. Что одни, как Антон Скачков, стоят на физкультуре первыми, а другие, как вот я, последними. Что одним приходится носить очки, а другим – нет. И что в результате в одних девочки влюбляются, а над другими – смеются.

– Это потому, – объяснил мне вечером папа, – что жизнь богата, разнообразна, и в ней есть место всему и всем, даже таким дурням, как ты. Понял?

Кстати, родители к этой истории и к замечанию в дневнике отнеслись безо всякого интереса. Мама разве что немного позлилась («Вечно ты как дурак попадаешься»), а отец только рукой махнул. Он в тот год писал диссертацию об Иммануиле Канте и не хотел отвлекаться по пустякам.

Любовные истории потом случались в моей жизни. Их было целых две, и оба раза я убеждался, что жизнь в самом деле богата и разнообразна. Даже чересчур. А две эти истории как-то сами собой уложились в три рассказа, в три времени года (осень, весна, зима), к которым, чтобы комплект был полным, я потом добавил еще и лето.

Осень в карманах

Дмитрию Быкову

Сентябрь

Осень в Петербурге имеет странное свойство – напоминать душе о самом главном. Кстати, зима, весна, лето такого свойства не имеют. Нет, они, конечно, случаются в нашем городе, даже регулярно, но как-то поспешно, между делом, в силу привычки или необходимости. Их обычно пережидают, пересидивают где-нибудь в экзотических широтах, на зимних курортах, на дачах, иногда – в музеях, в театрах, в кафе-ресторанах, но чаще – в офисах и квартирах. Календарь без осени привносит в нашу жизнь оттенок чего-то несущественного. Зимой-весной-летом мы и работаем как-то вполсилы, и думаем вполмозга, и разговариваем вполголоса. Словно не живем, а так – готовимся к жизни, пишем черновик, репетируем, и всё в каком-то бреде, в полусне...

Но вот наступает осень. Даже не наступает, а скорее – проступает во всем. Начаться может в любой момент. Может – сверившись с календарем, когда

положено. А может – раз, и посреди зимы или посреди лета. Конечно, правильнее всего ей начинаться в октябре. Я не оговорился. Именно в октябре, а не в каком-нибудь сентябре. Это всеобщее заблуждение – считать, что осень начинается в сентябре.

На самом деле сентябрь – никакая не осень, а так – временной перегон, крикливый, лихорадочный, попугайчатый. Прыжок кузнечика из сорной травы в желтое колосистое поле. Осень покойна, а сентябрь пробуждает в обитателях нашего города суетливую резвость мечущейся пресноводной рыбешки, которую начали прикармливать. Горожане выныривают из лета в учебу, в работу, сохраняя на отдохнувших физиономиях загар, а на сетчатке – очертания песчаных пляжей с зелеными кипарисами. И тут на них сваливается всё сразу: и стремительно меняющиеся краски листвы, и проливные дожди, и едкие запахи, и режущие ухо городские звуки. А еще – новые фильмы, спектакли, книги, причем в таких количествах, что переварить их массу совершенно невозможно. Жители всё больше погружаются в суету, скачут взад-вперед, стрекочут, как цикады, а город их как будто бы в этом поощряет, бесконечно множа смыслы, распахивая двери школ, университетов, театров и танцполов, мирно дремавших целое лето.

Открытка с видом на набережную

Словом, сентябрь чересчур поспешен и глуп, как свисток пригородной электрички. Но наконец он выдыхается, сходит на нет, и вот тогда в обитателях Петербурга действительно проступает спокойный, тусклый свет осени. Причем не постепенно, как это бывает у жителей других городов, а «вдруг» и «сразу».

Теперь можно забыть о суете и отважиться жить. Всё... Черновик дописан. Генеральные репетиции закончились, и занавес поднят. Тебя словно изымают из привычного каталога вещей, выдергивают из выгодных сделок, из перспективных предложений, из череды занятий, из ресторанных меню и ставят перед огромной водой. Смотри и думай!

Хорошо. Я встану, положу руки на гранитный парапет и начну думать. Тем более у меня как раз выдался перерыв между парами. За спиной – шум автомобилей и клюквенное здание Двенадцати коллегий, а перед глазами – главные

достопримечательности европейской столицы. Причем все сразу: Нева, Зимний дворец, Дворцовый мост, Адмиралтейство, а затем – бесконечно тянущаяся вдоль набережной линия фасадов с короткими разрывами и выглядывающий из-за нее купол Исаакия.

Типовая открытка с видом Петербурга. Неудивительно, что ею обычно любуются туристы. Летом их здесь целые толпы. В основном иностранцы. Ходят туда-сюда, что-то лопочут на непонятных языках, показывают пальцами в сторону противоположного берега, то и дело щелкают фотоаппаратами.

Сейчас – конец октября и тут никого нет. Можно стоять, курить, думать и быть уверенным, что твои мысли никто не прервет. Разве что подойдет какой-нибудь грязный бомж, как вот этот, с бурой физиономией, несвежими подмышками и винно-водочным запахом изо рта. Бомж тем временем встает рядом и начинает покачиваться взад-вперед, похоже, сам толком не зная, чего ему здесь желается. Наконец, произносит пьяным поплывшим голосом:

– Слышь, братан, мелочью не поможешь?

– Денег нет, – отвечаю.

Бомж стоит, раскачивается. Почему-то не уходит. И вдруг неожиданно высказывается:

– Работать надо! Работать! Понял?! – Он плюет со злости в темную воду и, пошатываясь, начинает двигаться в сторону Дворцового моста.

А мне вспоминается разговор моего приятеля Коли Сосновского с двумя бомжами, такими же, как вот этот. Сосновский выносил мусор. У помойного бака, как обычно, сидели два бомжа и сортировали содержимое. Один заглянул в мусорное ведро Сосновского, презрительно скривился и произнес:

– Набросают херни всякой, а мы тут сиди и разбирай!

Сосновский мне потом говорил: «Я посмотрел, и мне так стало стыдно, ты не поверишь. Ведь в самом деле – полное ведро одной херни».

Медный всадник и немцы

Интересно, а он часто сюда приходил со своими великими думами? Шемякинский кузнецик с длинными пальцами и крошечной металлической головой.

Чудотворный строитель, главный всадник всех российских народов и времен, правнуку – прадед. Наверное, часто. И тоже – осенью.

Стоял, заложив руки за спину. Нетерпеливо вглядывался в ползущие по небу облака и чернеющий за рекой голый лес. Хмурился, брезгливо подергивал усатой губой. Шел дождь, и с деревьев облетали последние листья. Он сжимал зубы в бессильной ярости. Иной раз принимался разговаривать сам с собой, ожесточенно жестикулируя и грозя кулаком пасмурному небу. Всё ему здесь не нравилось, всё казалось неправильным, не набравшим смысла. Не нравился пустомясый пейзаж, эти серые низкие тучи, пологие берега черной реки, заросшие осокой и тощим кустарником. Не нравились короткие, кривобокие деревья, здешние комариные болота, бегавшие в изобилии дурацкие зайцы, выжившие из ума финские рыболовы с их ветхими неводами. И особенно не нравился стоящий в отдалении шведский городок, маленький и аккуратнo гнусный, как все шведское.

Ему хотелось совсем другого. Хотелось погрозить шведу. Хотелось развернуть каталоги линий, мостов, дворцов, верфей, башенных часов, хотелось потешных полков и марсовых полей, кофейных лавок, мануфактур, кунсткамер. Хотелось париков и немцев. Хотелось погоняться за этими болотными людишками, мелкими человечисками, этими вякающими евгениями с их парашами и холопским трусливым «ужо». Хотелось давить их что есть силы медными тяжело-звонкими копытами, гранитными набережными, указами, законами, размалывать их в пыль, в раскоряченный сплюснутый страх. Хотя, наверное, он понимал, что, в общем-то, не царское это дело – гоняться за психами. Грубые ладони плотника вдруг зачесались в предчувствии теплого топорища. Нужно было срочно разрядиться, сию же секунду свести счеты с этими «хотелось».

И всё явилось. Как-то вдруг. По руки мановению, по велению щучьему. И верфи, и дворцы, и кофейни. И новые смыслы.

Даже его любимые немцы – и те пришли. Не погнушались... Они потом еще раз приходили. Но уже в другом качестве, под предводительством злобного

ефрейтора-жидомора. Зачем? Кто их сюда звал? Тот, кто их однажды пригласил, уже давно умер, не оставив завещания («Отдайте всё...»). Тогда тоже стояла осень. Она напомнила жителям города о главном, и немцев остановили. Руки ополченцев швыряли в немецкие танки бутылки с зажигательной смесью. Осень облетела, и на город ринулась блокадная зима, заморозившая водопроводные трубы и принявшаяся выламывать голодной болью желудка. Люди корчились, умирали от холода, от истощения; осколки снарядов, долетающих сюда из Пулкова, рвали на куски их высохшие тела.

Я осторожно трогаю пальцами розовый гранит. Он весь выщерблен, весь покрыт огромными трещинами, словно какой-то взбесившийся исполин расцарапал его когтями в приступе ярости. Видимо, рядом упал снаряд. Интересно, куда немцы целились в тот раз? В Кунсткамеру? В Ростральную колонну? В Дворцовый мост? По-моему, на той стороне моста располагалась зенитная батарея, чистившая небо от летающих свастик. В нее, наверное, и целились. Чтобы уничтожить, чтобы их самолеты поточнее могли сбрасывать тут бомбы. Или в Эрмитаж, защищавший своим телом всё самое великое...

Остывающий город

Теперь тоже осень. Гранит поросячьего цвета в беспамятстве молчит и леденит пальцы. Я смотрю на Зимний дворец и угадываю за его холодной разукрашенной коробкой ветхий музей, кладбище человеческих усилий. Один мой знакомый много лет назад подарил музею старую немецкую Библию, подписанную самим Лютером. Говорят, когда Лютер ее переводил, рискуя быть заживо поджаренным, ему явился оскалившийся дьявол. Лютер швырнул в него чернильницу, и дьявол исчез. Осталось лишь черное пятно на стене. Теперь это пятно предприимчивые немцы за деньги показывают туристам. А мой знакомый получил отдельную квартиру в Купчине – благодарное музейное начальство похлопотало. Все-таки приятно знать, что людям уже не является дьявол, что они немного поостыли, перестали так часто друг друга убивать и начали жить в спокойствии, по принципу «ты мне – я тебе». Можно даже безнаказанно кричать медному, надменному триумфатору «ужо!» или даже «у, жопа!», да только зачем? Все смыслы уже давно отыскались, живут вместе и не ссорятся.

Как-то раз при мне на Пасху один знакомый атеист поздравил православного священника, «из либеральных», в душе глумясь:

– Христос воскрес, батюшка.

Тот бросил не него ясный взгляд, будто угадал, и произнес кротко:

– Он каждый год воскресает... А что толку?

Люди остывают. Да и не только люди.

Все обозримое кажется осенью раз и навсегда остывшим. Небо затянуто холодными пепельными тучами, явившимися сюда с немецких северных морей. Тучи густой грязной ватой висят над городом, наблюдая тупо и неподвижно дворцы, улицы, Неву. Изредка, как отзвук позабытой угрозы, мигнет сквозь них злой зрачок солнца да тут же пропадает, и снова наступают сырые сумерки. Этот холодный день, в котором я сейчас стою, – точная копия дня вчерашнего. Осенью в Петербурге, я давно уже заметил, все дни похожи один на другой: долгий серый рассвет, тусклый короткий полдень, потом – долгий серый закат. И холод. А ведь когда-то, говорят... когда-то земля была таким же раскаленным шаром, как и солнце...

За спиной – резкий визгливый смех. Я вздрагиваю от неожиданности и оборачиваюсь. В шаге от меня резвится парочка. Он и она. Маленькие, как гномы, в толстых темных пуховиках. Бегают, смеются, толкаются, тянут друг друга за рукава. Я снова перевожу взгляд на Зимний дворец и неожиданно получаю локтем в спину. Уроды! Знаю, они не нарочно, но все равно недовольно дергаю плечом. Парочка и не думает извиняться. Встают рядом, почти вплотную, и начинают целоваться. Как будто меня здесь нет. Детские розовые лица. Откуда здесь такие?

– Слушайте! – говорю я, окончательно потеряв терпение. – Шли бы вы отсюда, а?! Вам что, места мало?

Парень отрывается от своей подруги. На его круглой безбровой физиономии удивление, которое тотчас же сменяется нагловатой ухмылкой.

- Вам завидно, да?!

В ответ я демонстративно оглядываю его подругу с головы до ног, а потом равнодушно сообщаю:

- Если честно, то нет, не завидно.

- Слышь?! - поднимает голос парень.

Девушка тут же хватается за рукав:

- Сеня, не связывайся!

- Слышь?! - круглолицый Сеня рвется ко мне, но девушка тянет его в сторону. Самое удивительное, что я совершенно его не боюсь. Как будто внутри меня умер какой-то орган, отвечавший за страх.

- Сеня, пожалуйста, не связывайся! - громко умоляет девушка. - Не видишь - придурок!

Они уходят. Сеня зачем-то сердито отряхивает рукава. На прощание девушка вытягивает в мою сторону правую руку с отогнутым средним пальцем.

Уроды... Хотя почему «уроды»? Веселые ребята, ничего плохого они мне не сделали. Счастливые... Наверное, любят друг друга, поженятся скоро, детей нарожают, маленьких розовых поросят, таких же, как они сами. И чего я на них взъелся? Скорее всего, это из-за холода. Осенний холод, особенно в Петербурге, делает человека раздражительным.

Я снимаю очки, неуклюжую пластиковую оправу, дышу теплом на линзы, потом начинаю протирать их уголком шарфа. Хотя в октябре делать это на улице совершенно бессмысленно: ничего не протрешь - только грязь по стеклам размажешь.

Но протирать все равно приходится, особенно ежели случится оказаться в метро. Еще зайти не успел, а очки уже запотели. Поэтому осенью очковым существам вроде меня в Петербурге очень некомфортно. Философ-постмодернист Погребняк по такому случаю даже стихотворение сочинил. Мы как раз зашли в метро, и я принялся в очередной раз протирать очки.

Поздняя осень,

Грачи улетели.

Лес обнажился.

Очки запотели.

Молодец философ-постмодернист, помнит классику. А я вот уже стал забывать всё то, чему учили в школе. Давно эти книги не открывал. Оно и понятно: путь всякой классики – из гостиной напрямиком на чердак. И лишь одному Вальтеру Скотту повезло больше других: он еще ненадолго задержался в детской.

Я улыбаюсь и возвращаю очки на переносицу. Осенний холодный воздух становится почти различим глазу – серый, пропитанный гарью, запахом гниющей листвы и автомобильными выхлопами. Наверху в небе каркают вороны. Громко и насмешливо. Наверное, скоро пойдет дождь. По-октябрьски холодный и колкий. Да он уже и начинает понемногу капать. Под таким дождем серое асфальтовое тело города скоро окончательно остынет. Поплывут в огромных стылых лужах тротуары. Размякнут мостовые. Земля превратится в черную, чавкающую под ногами жижу. Холодная вода тщательно промоет стволы, ветки, сучья. Листья окончательно облетят, и деревья сделаются похожими на гигантские мертвые артерии, вырванные из огромного тела. Некогда бурлившие живой жизнью, исступленно штурмовавшие небо, они будут теперь так стоять до самой весны, голые, остывшие, черные, обессиленно растопыренные в серый сумрак.

Остывает всё. Остывают решетки оград, остывают памятники, рекламные щиты, купола соборов, чернеющие над головой провода, крыши домов, столбы, светофоры, автомобили. Физиономии наших горожан тоже остывают. В октябре с них окончательно сходит летний загар, привезенный с юга и совершенно неуместный в здешних широтах. Лица как будто линяют, наливаются холодом, делаются землисто-серыми, как у призраков.

Если и есть на свете город-призрак, то это не Лондон, не Вена, не – тем более – Париж. Это Петербург в октябре. Тучам, висящим над городом, он, наверное, кажется привидением в кошмарных лохмотьях. Могильным расплывшимся телом, едва прикрытым бледными фасадами, которые сверху похожи на линялые тряпки, сшитые как-то наспех, не по фигуре. Вон, глядите, воротник – Дворцовая площадь. Вон там – рукава: Литейный, Владимирский. Вон – штанины: Невский, Гороховая. А где-то рядом, вот они, на бельевой веревке болтаются ажурные трусики – широченные разлеты петербургских мостов.

Я принимаюсь разглядывать Дворцовый мост. Мне кажется, он вместе со мной пребывает в каком-то холодном осеннем оцепенении. Тут нет живых людей – одни черные силуэты и механическая автомобильная жизнь. Машины катятся друг за другом ровным бешеным ходом. Почти десять лет назад, тоже осенью, в октябре, на этом самом месте погибла моя бабушка. Она была сильным ученым, но последние десять лет почти ничего не писала. И диссертацию не защитила, хотя очень хотела.

Моя мать всегда считала и часто повторяла мне, что это, мол, всё потому, что бабушку превратили в домработницу, и сделала это мамина сестра, моя тетя. И еще, говорила она, тетя назначила бабушку нянькой для своей дочери Сашуни. Бабушка носилась с ней в детский сад, в школу, в музыкалку, сидела, приклеенная к ней часами, помогала готовить уроки. Сашуня выросла и сделалась художником. Пишет картины маслом. Я иногда смотрю на эти картины и думаю: стоят ли они бабушкиной жизни, ее ненаписанных статей и книг? Возможно, стоят, и кто из нас в состоянии расшифровать собственное предназначение?

Бабушку сбила одна из таких вот машин, мчавшаяся наперегонки с автобусом. Ничего, скоро они, наверное, будут ездить медленнее. Я давно заметил, что чем цивилизованнее, чем более остывшей выглядит страна, тем медленнее в ней ездят автомобили. У нас в Петербурге и в Москве они носятся наперегонки как угорелые. В Греции машины ездят медленнее. В Германии и США – еще медленнее. В Англии – просто медленно. А в Голландии их уже обгоняют пешеходы...

Мой взгляд, обшаривающий пасмурную туристическую открытку, опускается вниз и останавливается на тяжелых острых волнах реки, толкающих друг друга. Холодная река с гранитными берегами осенью совершенно пустынна. Здесь нет ни времени, ни пространства. Здесь нет ничего: ни прогулочных катеров, ни ядовитых бацилл, ни бензиновых пятен, ни пивных бутылок, ни окурков, ни мертвых спящих голубей, ни дохлых рыб, плывущих кверху брюхом. Лишь одна угрюмая покорность. Нева занята собой и с тупым безразличием равнодушно несет в залив свои тяжелые волны. А город, мелькающий по обе ее стороны бледными фасадами, оголенными деревьями и остывшими монументами, выглядит нелепым, карликовым, табакерочным. Он сгниет, рассыплется, истлеет. Останется лишь угрюмое безразличие этого течения. Вглядитесь в него. Это же всё... Конец... Темная река тормозит всякое движение мысли. Там, за спиной, в спасительной глубине Васильевского острова, за надежным щитом зданий, стоя в аудитории, еще можно думать, говорить, на что-то надеяться, бороться за смыслы. Но здесь, на набережной, лицом к воде, ты пропал, ты обречен... ты...

На факультете

Громкий звонок заставляет меня вздрогнуть. Надо будет поменять сигнал или сделать потише. Достаяю мобильник. На дисплее высвечивается слово APENKO.

- Да, Елена Михайловна, - говорю я в трубку.

- Андрей? Здрассьте...

В растянутых согласных звуках я улавливаю сдержанное бешенство.

- Вы что, уже ушли с факультета?

- Э-э, нет, но...

- Тогда соизвольте, пожалуйста, спуститься с высот ваших мыслей на грешную землю, да... и... заглянуть на кафедру...

Я отвечаю, что да, сейчас подойду.

– Уж будьте так любезны!

В трубке – короткие гудки.

Я поворачиваюсь, прячу в карман мобильник и иду по чавкающему газону мимо стаи сонных голубей к проезжей части. Апенко меня вызывает... Стало быть, в самом деле надо спуститься на землю и взять себя в руки. Пропускаю несколько машин, мчащихся к мосту. Елена Михайловна Апенко заведует кафедрой, где я работаю. Перебегаю дорогу и подхожу к дверям серого здания.

Это филологический факультет, мир аудиторий, больших и малых, аккуратных офисов, лингафонных кабинок и широких коридоров. Здесь все так привычно, уютно и понятно, что очень хочется учиться. Или кого-нибудь учить.

Апенко меня здесь учила десять лет назад. Читала мне и философу-постмодернисту Погребняку лекции. Помню, они нам очень нравились.

– Апенко, – высказался однажды по поводу нее Саша Погребняк, – умна, и это ее не портит.

Я зачем-то иронически поинтересовался, кого и когда это портило.

– Тебя! – неожиданно разозлился Погребняк. – Ты только посмотри, как ты одет?!

Я ответил, что, по-моему, одеваюсь вполне нормально, как все, но философ-постмодернист только рукой махнул:

– Вот именно что «как все»! – И добавил с уважением в голосе: – А вот Апенко, между прочим, в отличие от тебя одевается очень даже прилично.

Я предъявляю на вахте пропуск, на всякий случай оглядываю свою куртку и поднимаюсь по широкой лестнице.

Елена Михайловна Апенко, во-первых, в самом деле умна. А во-вторых? Во-вторых – тоже умна. Никогда не пустословит, в отличие от многих представителей нашей славной педагогической профессии. Говорит коротко, энергично, всегда по существу. А уж если звонит по телефону, как вот сейчас, то в самом крайнем случае. Значит, что-то серьезное. Ты где-то нарушил какие-то университетские правила. Либо занятие по ошибке пропустил, либо, что еще кошмарнее, забыл программу занести в методотдел.

Захожу на кафедру. Здесь всё как обычно. Столы со стульями аккуратно расставлены друг за другом в оцеплении стоящих вдоль стен книжных шкафов. Надо же, думаю, а здесь тепло. Наверное, отопление включили. Апенко стоит у окна и курит в открытую форточку. Увидев меня, резким движением стряхивает за окно пепел и тушит сигарету. Я здороваюсь. Очень громко и фальшиво. Я всегда именно так и здороваюсь, когда вхожу к начальству. Это придает мне уверенности в себе.

Апенко в ответ сухо кивает:

– Садитесь.

Сажусь.

– У меня к вам неприятный разговор.

«Интересно, – думаю я, глядя в окно, – почему у меня с ней всегда получаются неприятные разговоры, а приятные никак не получаются? Вроде бы мы оба приличные, интеллигентные люди, ну она, по крайней мере. И общие интересы есть. Почему человеческие отношения складываются так бездарно?»

В окне – низкие тучи и тощая, будто обглоданная антенна, чернеющая на фоне мокрой серой крыши.

– Ко мне тут такая Таня Бровкина подходила...

Мне становится тоскливо.

– Она ваша или нет? – Апенко строго на меня смотрит.

– ?Вроде моя...

– ?Вроде! – ледяным тоном повторяет Апенко. – У вас всё на свете «вроде»! Никакой ответственности...

– Да что случилось? – говорю.

– Жалуется она на вас, дорогой мой. Говорит, вы ей совершенно не помогаете. И чуть ли не послали ее подальше. Это правда?

Всё ясно, думаю. Молодец Бровкина. Догадалась-таки, как меня достать.

Как иногда начинаются лекции

Бровкина явилась ко мне в первых числах сентября. Помню, в тот день на факультете царила страшная суета, каковая обычно случается в самом начале семестра. Только что здесь было по-летнему сонно, тихо, и вдруг – на тебе! Шум, гам, громкие голоса, топот ног, чмокающие звуки приветственных поцелуев, хлопанье дверей, гуденье кофеварок. Я стараюсь в такие дни не показываться в коридорах и все перерывы провожу на кафедре.

В тот раз я болтал с доцентом Михеевым, Александром Анатольевичем. Он мне рассказывал, что в одном провинциальном университете культуры профессор взял и на глазах у студентов помочился прямо из окна.

– Представляете? – изумлялся Михеев, приглаживая ладонью волосы. – Солидный человек, профессор, доктор наук... Явился, понимаете ли, в аудиторию пьяный. Распахнул окно, влез на подоконник, расстегнул штаны и принялся мочиться наружу...

Михеев бессильно опустил ладонь на стол. Взгляд его узких добродушных глаз выражал искреннюю растерянность. Я поинтересовался, чем там все закончилось.

Кінець ознакомительного фрагмента.

Купити: <https://tn.knigapoisk.com/andrey-astvacaturov/osen-v-karmanah-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)